

Ника Фрост

ПЯТЬ ЗАРУБОК

ЧУЖАЯ
ДОЛЯ



Ника Фрост

Чужая доля

<https://litres.ru/74575844>

SelfPub; 2026

Аннотация

Говорят, от добра добра не ищут. А ещё говорят — от подарков не отказываются.

Вера Ладыгина в приметы не верит. Она фельдшер и привыкла иметь дело с вещами куда более понятными: болезнями, долгами, чужой болью и собственной дочерью-подростком.

Но после странной смерти пациента Вера оказывается в деревне Долгое, затерянной среди Лихолесья. Здесь старики выглядят моложе своих лет, гостей встречают хлебом-солью, а подарки делают от чистого сердца.

Только почему-то местный водитель советует ничего у них не брать.

Ни еды. Ни вещей. Ни даже простой ниточки.

Потому что некоторые подарки приходится оплачивать не деньгами.

А своей долей.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Пояс	8
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Ника Фрост

Чужая доля

Пролог

Давно это было. Никто уж теперь не скажет, при каком царе. Стояла на краю Лихолесья деревня, и звалась она тогда не Долгое, а Вдовье. Потому так звалась, что мужики в ней до седины не доживали. Кого лесиной придавит, кого лихо-манка скрутит, кто в озере сгинет, а кто и просто ляжет с вечера здоровый, а к утру уж холодный.

Бабы вдовели рано, да и сами долго не заживались. Ребятишек хоронили чаще, чем крестили. Говорили старики, что место такое: лес из людей силу тянет. А еще говорили, будто сидит в том лесу, под сухой елью, Та, что прядет. На каждого человека у нее своя кудель отмерена, кому с горсть, кому с охапку, а вдовьинским и вовсе по щепотке досталось. И просить прибавки без толку: сколько дадено, столько и спрядется.

Жила во Вдовьем баба, Агафьей звали. Семерых родила, шестерых схоронила, и мужа за ними следом. Осталась у нее одна дочка, последняя, Улита, девяти годов. И та по осени слегла: горит вся, губы обметало, в чем душа держится. Позвали знахарку из дальнего села. Та поглядела, в печь попле-

вала и говорит: «Не жилища. До Покрова не дотянет. Нить у ней кончается, я таких видала».

Не стала Агафья ни выть, ни причитать. Повязалась платком, взяла краюху хлеба да клубок шерсти и пошла в Лихолесье. Шла день, шла ночь, а к утру вышла на поляну, где трава не растет и птица не садится. Стоит посреди поляны ель, сухая от комля до макушки, и вся, как паутиной, серыми нитями увешана. А под елью сидит баба, худая да долгая, что жердь. Прялка перед ней сама собой крутится. Глядит та баба одним глазом, а второй у нее – будто сучок гнилой.

Поклонилась Агафья в землю и говорит:

– Прибавь моей Улите кудели. Что хочешь проси, все отдам.

Усмехнулась Та, что прядет.

– Все отдашь? А у тебя, кроме девки, и нет ничего. Не прибавлю. Кудели на всех отмерено, лишней не держу. Нить длинней не сделаю.

Упала тут Агафья ей в ноги, за подол ухватила. Подол холодный, что вода в проруби.

– А коли так, – говорит. – То и меня с ней рядом пряди. Мою нить отрежь, ей привяжи.

– Твоей там на три зимы осталось, – отвечает та. – Невелик прибыток. А вот чужую приплести могу. Чужой кудели на свете много, ходит она мимо вашей деревни по дороге, сама в руки просится. Принеси мне волос чужого человека – приплету его долю к девкиной. А недолю ее, хворь да смерть,

на него переведу. Будет твоя Улита жить, покуда чужое не кончится. А кончится – еще принесешь.

Затряслась Агафья. Поняла, о чем речь.

– Это ж грех, – шепчет. – Это ж человека извести.

– А ты не изводи, – говорит Пряха. – Ты подари. Сотки ему поясок, да свой волос в него впусти. Подай через порог из рук в руки. Возьмет да спасибо скажет – его воля, не твоя. А что с подарком взял, про то он не спрашивал. И волос его не рви, не воруй. Пусть сам оставит: на гребне ли, в бане ли. Неволить не смей. Неволей взятое рвется, и тебя той же нитью захлестнет.

Молчит Агафья. А Пряха дальше говорит, и прялка у нее все крутится:

– Уговор мой такой. Десятая нить – мне. На ель повесишь, имя на бересте напишешь. И еще запомни накрепко. Чужое впрок идет, покуда хозяин назад не спросил. А спросит трижды, сам, своим голосом, да имя свое назовет – отдашь. Не отдашь – сама приду и возьму все разом, и твое, и девкино, и всей вашей деревни.

– Да кто ж спросит-то? – говорит Агафья. – Он же и знать не будет.

– Вот и гляди, чтоб не знал, – отвечает Та, что прядет, и глаз свой единственный шурит. – Ласкова будь. Ласковой бабе всякий спасибо скажет.

Вернулась Агафья домой. А на Покров, как лег первый снег, постучался к ней в избу коробейник, человек прохо-

жий, веселый. Попросился обогреться. Она его и в бане выпарила, и щами накормила, и гребень костяной подала – кудри расчесать. А поутру на дорогу поясок подарила, тканый, красный с серым. Подала через порог. Он взял, в пояс поклонился.

– Спасибо, – говорит. – Хозяюшка. Век твоей доброты не забуду.

Век у него вышел короткий. До соседнего села не дошел: нашли его у дороги, седого да скрюченного, будто сто лет ему. А Улита к вечеру встала, молока попросила.

С той поры перестали во Вдовьем помирать до срока. И срока-то самого, сказывают, не стало. Потянулись к Агафье бабы: одна за мужа просить, другая за сына. Научила она их, как пояса ткать да как гостя привечать. Стали вдовьиные жить долго, так долго, что и название деревне переменили. Теперь она на всех картах значится как Долгое.

А коробейников в тех краях с той поры больше не видели. Да мало ли кто по дорогам ходит. Свет не без добрых людей, а добрый человек от подарка не откажется.

Глава 1. Пояс

Вызов упал в три сорок, когда Вера только-только пристроила голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Рация кашлянула, и диспетчер Люба сонным голосом, каким обычно объявляют остановки в трамвае, сказала:

– Двадцать седьмая, примите. Вокзал, первая платформа, мужчина без сознания. На вид лет шестьдесят. Вызывает линейный отдел.

– Двадцать седьмая приняла, – ответила Вера, не открывая глаз.

Михалыч уже выруливал со стоянки у круглосуточной аптеки, где они простояли минут двадцать. Двадцать минут тишины за ночную смену – это, можно сказать, подарок. До этого были два давления, один пьяный с разбитой бровью, бабушка, которой показалось, что у нее остановилось сердце, и ложный вызов на проспект Строителей, где им никто не открыл.

– Опять вокзал, – проворчал Михалыч. – Спорим, бомж? Напился, улегся, а линейщикам возиться неохота, они нас и дергают.

– Сказали, без сознания.

– У них всякий, кто храпит, без сознания.

Сзади, в салоне, завозился Данила. Стажер досыпал на носилках, укрывшись собственной курткой, и просыпался тя-

жело, по-детски, с сопением и причмокиванием. Данила был длинный, белобрысый, работал на подстанции третий месяц и до сих пор бледнел при виде рвоты. Вера каждую смену давала себе слово быть с ним помягче и каждую смену срывалась.

– Вера Андреевна, а что там? – спросил он, просунув голову в окошко между салоном и кабиной.

– Вокзал. Мужчина, шестьдесят, без сознания. Укладку проверь и кардиограф. И куртку свою с носилок убери, на них люди лежат.

– Я стелил простыню...

– Данила.

– Понял.

* * *

Город в этот час был пустой и желтый от фонарей. Август перевалил за середину, ночи стали холодные, и над рекой за мостом висел туман, плотный, как вата из аптечной упаковки. Михалыч сирену не включал, только маячки. Вера смотрела на все это и считала в уме. До конца смены четыре часа. Потом сутки дома. Потом опять. Зарплата двенадцатого, платеж по кредиту пятнадцатого, и после этого платежа на карте останется столько, что лучше не смотреть.

Кредит был не ее. То есть по бумагам ее, она в свое время расписалась как созаемщик, потому что Олег умел просить так, что отказать ему было все равно что пнуть щенка. «Верунчик, это на полгода, пока я не раскручусь. Ты же в

меня веришь?» Она верила. Олег раскручивался восемь лет, сначала с автомойкой, потом с какими-то кофейными аппаратами, потом с криптой, а в марте собрал сумку и пропал, оставив ей на память миллион четыреста долга и телефон, который был теперь всегда вне зоны.

– Приехали, – сказал Михалыч.

Вокзал встретил их запахом креозота и вчерашних беляшей. На первой платформе под навесом стоял сержант линейной полиции, молоденький, с красными от недосыпа глазами, и светил фонариком себе под ноги. У его ботинок, привалившись спиной к чугунной ножке скамейки, сидел человек. Чуть поодаль переминался парень в наушниках и держал перед собой телефон. Снимал.

– Убери, – бросила ему Вера на ходу.

– А че такого? Общественное место.

Спорить было некогда. Она присела на корточки, и Данила поставил рядом оранжевый чемодан.

Мужчина и вправду выглядел лет на шестьдесят. Может, на шестьдесят пять, но таких шестидесятипятилетних Вера видела нечасто. Крепкий, широкий в кости, с тяжелыми руками, какие бывают у людей, всю жизнь проработавших на земле. Лицо темное, обветренное, в глубоких складках, но складки эти были не старческие, а такие, как у рыбаков или трактористов, от солнца и ветра. Волосы густые, русые с проседью. Одет чисто и странно: суконный пиджак, каких давно не шьют, рубаха, застегнутая под горло, сапоги. Настоящие

кирзовые сапоги, смазанные чем-то жирным. Рядом лежал фибровый чемоданчик с железными уголками.

Перегаром от него не пахло. Пахло дымом, сеном и еще чем-то сладковатым, вроде лежалых яблок.

– Давно он так? – спросила она у сержанта.

– Минут пятнадцать. С поезда сошел, с усть-лихвинского, я его еще заметил: идет, как по минному полю, озирается. Дошел до скамейки, сел. Потом гляжу – сполз.

– Документы?

– Не смотрел еще. Вас ждал.

Пульс на запястье частил, но был полный и ровный. Дыхание свободное. Зрачки на свет фонарика сузились как положено. Вера надела манжету: сто тридцать на восемьдесят. У нее самой после ночи бывало хуже. Сахар четыре и восемь. Сатурация девяносто семь.

– Обморок? – с надеждой спросил Данила.

– Может, и обморок. Кардиограф давай.

Она расстегнула на мужчине пиджак, потом рубашу. Грудь у него была широкая, безволосая и тоже не стариковская, без дряблости. Данила лепил электроды, путая красный с желтым, и Вера молча переставила их сама. Лента поползла из аппарата, ровная, как в учебнике. Синусовый ритм, никакой ишемии. Тогда она опустила руки ниже, чтобы пропальпировать живот, и наткнулась на пояс.

Сначала она приняла его за бандаж. Серая полоса в три пальца шириной охватывала тело под ребрами и сидела так

плотно, что кожа над ней и под ней выпирала валиками. Вера подцепила край ногтем. Это была не резинка и не аптечный трикотаж. Ткань. Плотная, домотканая, жесткая на ощупь, вроде тех поясов, какие продают на ярмарках народных промыслов, только без всякого узора. Серая, с редкими темными и светлыми прожилками.

– Что это у него? – Данила вытянул шею.

– Пояс какой-то. Посвети.

Она повела пальцами вдоль полосы, отыскивая застёжку или узел. Обвела вокруг, насколько можно было дотянуться, не переворачивая тело. Сержант помог приподнять мужчину за плечи. На спине пояс был такой же гладкий, как и спереди. Ни узла, ни шва, ни пряжки. Сплошное кольцо, будто его соткали прямо на человеке.

А кожа под ним Вере не понравилась. Там, где ей удалось оттянуть ткань на полсантиметра, виднелась белая, в синеву, вдавленная борозда. Такие остаются от жгута, если забыть его на час.

– Данила, ножницы.

– Вера Андреевна, а может, не надо? Вдруг это что-то... ну, религиозное?

– У него борозда, как у удушенника. Мне живот посмотреть надо. Вдруг там аневризма, а мы его в обморок запишем. Ножницы.

Ножницы для разрезания одежды у нее были хорошие, свои, купленные на собственные деньги, с тупым загнутым

концом. Они брали джинсу, кожаные ремни и однажды взяли мотоциклетную куртку. Вера завела нижнюю браншу под край пояса и сжала ручки.

Ножницы не взяли.

Она нажала сильнее. Ткань спружинила, как резиновая. В эту секунду мужчина открыл глаза, и его рука перехватила ее запястье. Хватка была железная.

– Не тронь, – сказал он хрипло. – Не режь.

– Тихо, тихо, отец. Скорая помощь. Вам плохо стало на вокзале. Как вас зовут?

Он не ответил. Смотрел на нее в упор, и глаза у него были ясные, светло-серые, совсем не мутные. Потом перевел взгляд на ножницы, на собственный живот, на платформу, на поезд, который все еще стоял у перрона с погашенными окнами. Вера почувствовала, как пальцы на ее запястье разжимаются. Не от слабости. Он сам их разжал.

– Город? – спросил он.

– Город. Вокзал.

– Доехал, стало быть.

Он вдруг улыбнулся, и от этой улыбки Вере сделалось не по себе. Так улыбаются люди, которым сказали, что анализы пришли хорошие.

– Ты, дочка, режь, – сказал он. – Режь, не бойся. Я ведь сам не могу. Пробовал – рука не подымается. А ты режь.

– Что это за пояс? Давно носите?

– Давно, – он закрыл глаза. – Ох, давно.

– Он вам кровообращение перетягивает. Сейчас сниму, посмотрю живот, и поедem в больницу, хорошо?

– Хорошо, – согласился он. – Все теперь хорошо.

Вера снова свела ручки ножниц. На этот раз ткань подавалась. Не разом, а по волоконцу, с тихим треском, будто рвалась не шерсть, а что-то живое, вроде сухожилия. Последняя нитка лопнула, и пояс распался. Мужчина выдохнул, длинно, со стоном, и обмяк.

Концы разрезанной полосы Вера вытянула у него из-под спины. Один, покороче, остался у нее в кулаке, и она, не думая, сунула его в карман форменной куртки. Руки были заняты другим.

Живот оказался мягкий, безболезненный. Никакой пульсации, никакого напряжения. Она еще раз померила давление. Девяносто на шестьдесят.

– Упало, – сказал Данила.

– Вижу. Вену ставь. Физраствор. Михалыч, каталку!

Пока переключивали, пока катили к машине, пока Данила с третьей попытки попал в вену, она на лицо больного не смотрела. Смотрела на монитор. А когда посмотрела, то решила, что это свет. В салоне скорой лампы синеватые, мертвенные, под ними и здоровый человек выглядит покойником.

Только свет не объяснял, почему у него ввалились щеки.

– Вера Андреевна, – позвал Данила шепотом.

– Что?

– У него волосы...

Волосы были белые. Не седые с проседью, какими она видела их на платформе пять минут назад, а белые, редкие, и сквозь них просвечивала розовая кожа с коричневыми пятнами. Вера моргнула. Наверное, на платформе было темно. Наверное, фонарь давал желтизну. Она сама себе это сказала, очень отчетливо, как говорят вслух правила перехода улицы.

– Давление?

– Семьдесят на сорок.

– Дофамин. Михалыч, в первую городскую, с сиреной!

Машина рванула с места. Вера держала мужчину за руку, нащупывая пульс, и эта рука менялась у нее под пальцами. Вот только что была тяжелая, мясистая ладонь, а теперь – сухая птичья лапка, обтянутая пергаментом, с узловатыми суставами и ногтями, желтыми и толстыми, как роговые пластинки. Вены вздулись синими шнурами. На предплечье, там, где Данила заклеил пластырем катетер, кожа собралась мелкими складками и пошла кровоподтеком, как это бывает у глубоких стариков, которых и тронуть-то страшно.

«Обезвоживание, – сказала себе Вера. – Резкая декомпенсация. Шок. При шоке черты заостряются, это описано, это Гиппократ еще описывал». Но Гиппократ ничего не писал про то, как у человека за пять минут выпадают зубы. А мужчина приоткрыл рот, и там, где на платформе она видела ровные желтоватые резцы, теперь темнели голые десны.

Данила забился в угол салона и смотрел оттуда круглыми глазами.

– Это что? – спросил он. – Вера Андреевна, это что такое?

– Мешок Амбу готовь.

– Он же... Он же был...

– Данила! Мешок!

На мониторе зубцы пошли вразнос. Пауза. Еще пауза. Старик – теперь это был старик, древний, каких она встречала разве что в хосписе, вдруг открыл глаза. Глаза затянуло белесой мутью, зрачков почти не видно, и все-таки он смотрел на нее. Губы шевельнулись.

Вера наклонилась.

– Спасибо, – выдохнул он. Совсем тихо, но она расслышала. – Спасибо, дочка.

И монитор запищал на одной ноте.

Они качали его двадцать шесть минут, сначала в машине, потом на каталке в приемном, пока дежурный реаниматолог не положил ей руку на плечо. Под ладонями у нее хрустели ребра, тонкие и ломкие, как прутики. Она это запомнила. И еще запомнила, как реаниматолог, глянув на тело, спросил с раздражением:

– Вы зачем его реанимировали вообще? Ему лет сто. Вам заняться нечем?

– На вызове был мужчина шестидесяти лет, – ответила Вера.

Реаниматолог посмотрел на нее, потом на Данилу, потом

опять на нее. Ничего не сказал. Пожал плечами и ушел писать протокол.

Документы нашлись во внутреннем кармане пиджака, завернутые в носовой платок: паспорт старого образца, потерянный на сгибах, и пенсионное удостоверение. Вера раскрыла паспорт. Долгов Петр Савватеевич. Место рождения – деревня Долгое Усть-Лихвинского района. Год рождения – тысяча девятьсот двадцать седьмой.

– Девяносто восемь, – сказал у нее за плечом Данила. Голос у него дрожал. – Вера Андреевна. А мы шестьдесят передавали.

Она ему не ответила. Стояла в коридоре приемного отделения под гудящей лампой, держала чужой паспорт и думала о том, что с фотографии, вклеенной, судя по дате, двадцать два года назад, на нее смотрит тот самый крепкий мужик с платформы. Русский с проседью. Ни на день не моложе и не старше.

* * *

Видео выложили к обеду.

Парень в наушниках оказался не ленивый. Он смонтировал ролик секунд на сорок и отправил в городской паблик, тот самый, где обычно обсуждают ямы на дорогах и потерявшихся собак. Назвал незатейливо: «Скорая раздела и убила дедушку на вокзале». В кадре Вера со спины наклонялась над лежащим человеком, блестели ножницы, потом шла склейка, и вот уже каталку закатывают в машину, а из-под

простыни свисает рука. Старческая рука, в пятнах. Лица на первых кадрах было не разобрать из-за темноты, и получалось, что на платформе с самого начала лежал дряхлый старик, с которого медики для чего-то срезали одежду.

К вечеру под роликом набралось восемьсот комментариев. Вера прочитала первые двадцать и больше читать не стала. Ей хватило слова «живодерка» и предложения проверить, не пропало ли у бабушки чего из чемодана.

На подстанцию ее вызвали через два дня. Заведующая, Эльвира Маратовна, женщина крупная и тихая, из тех, кто повышает голос раз в год и запоминается этим надолго, сидела за столом и перекладывала бумаги. На Веру она не глядела.

– Садись.

– Постою.

– Сядь, Ладыгина, не доводи.

Вера села.

– Значит, так, – Эльвира Маратовна наконец подняла глаза. – Жалоба ушла в министерство. Не от родственников, родственников у него, похоже, нет. От равнодушных граждан. Коллективная. Семьдесят подписей.

– Они его в глаза не видели.

– Они видели ролик. Дальше. Карта вызова. Ты пишешь: мужчина, на вид шестьдесят лет, сознание спутанное, гемодинамика стабильная. Через одиннадцать минут ты же пишешь: клиническая смерть. А в приемном регистрируют

мужчину девяноста восьми лет в состоянии старческого истощения. Девяноста восьми, Вера. Ты как это объяснишь?

– Никак.

– Вот и я никак. А объяснять придется.

– Спросите Данилу. Спросите сержанта, который вызывал. Он на платформе выглядел на шестьдесят. Он со мной разговаривал, он меня за руку схватил так, что синяк остался, – Вера оттянула рукав. Синяк и вправду был, четыре синих пятна в ряд и пятое отдельно. – Девяностовосьмилетние так не хватают.

– Данилу я спрашивала. Данила твой плачет и говорит, что дедушка состарился в машине. Я его после этих слов отправила к психологу и попросила больше никому такого не рассказывать. Сержант дал объяснение, что гражданин был пожилой. Сколько именно лет, он в темноте не разглядел.

– Врет.

– Может, и врет. Ему тоже не надо, чтобы на него пальцем показывали, – Заведующая вздохнула. – И пояс. Зачем ты его резала?

– Он был перетянут. Борозда странгуляционная, сантиметра четыре. Мне нужно было исключить абдоминальную катастрофу.

– В заключении патологоанатома никакой борозды нет.

Вера открыла рот и закрыла.

– Как это нет?

– А вот так. Кожные покровы чистые. Причина смерти –

острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне старческой астении. Проще говоря, от старости. Претензий к объему помощи эксперт не имеет. Но это эксперт. А у министерства есть ролик, жалоба и карта вызова, в которой написана чушь, — она пододвинула к Вере чистый лист. — Пиши по собственному. Сегодняшним числом.

— Нет.

— Ладыгина.

— Я ничего не нарушила. Пусть проводят служебную.

— Проведут, — сказала Эльвира Маратовна устало. — И выяснят, что фельдшер с пятнадцатилетним стажем не сумела на глаз отличить шестьдесят лет от девяноста восьми. Знаешь, что тебе напишут? Не «убила». Напишут «некомпетентна». И с такой формулировкой ты потом и в поликлинику уколы ставить не устроишься. А уйдешь сама — я дам характеристику. Хорошую. Ты хороший фельдшер, Вера, я против тебя ничего не имею. Но мне этот ролик уже из горздрава три раза присылали.

Вера долго смотрела на чистый лист. Потом взяла ручку.

Пока писала, думала почему-то не о работе и не о деньгах. Она думала о том, что он сказал «спасибо». Люди перед смертью говорят разное: зовут мать, ругаются, просят пить, спрашивают, исключен ли утюг. За пятнадцать лет она наслушалась. Но чтобы человек благодарил за то, что умирает, — такого ей не попадалось.

* * *

Домой она пришла в четвертом часу дня. На двери квартиры опять висел листок, приклеенный скотчем. «Ладыгин О. В., верни долг! Соседи, в вашем подъезде живет должник». Вера сорвала его, скомкала и сунула в карман. Листки появлялись через день.

В квартире пахло горелым. На кухне, забравшись с ногами на табуретку, сидела Соня и ела прямо со сковороды нечто черное по краям.

– Это сырники, – сказала она, не оборачиваясь. – Если что.

– Я поняла.

– Они внутри нормальные. Будешь?

– Буду.

Соне в июле исполнилось четырнадцать. За последний год она вытянулась, обогнала мать на полголовы и приобрела манеру разговаривать так, будто каждое слово стоит денег. Волосы у нее были Олеговы – густые, темно-каштановые, до лопаток, предмет ее отчаянной гордости и вечных Вериных напоминаний про сток в ванной. Все остальное, по общему мнению, досталось ей от матери: острый подбородок, привычка шуриться и неумение вовремя промолчать.

– Ты чего так рано? – спросила Соня. – У тебя же сутки.

– Отгул дали.

– С чего это?

– Переработка накопилась.

Соня повернулась и посмотрела на нее. Долго. Вера вы-

держала этот взгляд, наливая себе чай, и подумала, что врать собственному ребенку с каждым годом становится труднее. Не потому, что стыдно. Потому что ребенок умнеет.

– Мам, я видела ролик.

Чай плеснул на клеенку.

– Какой ролик?

– Ну, мам. Его все видели. Мне Кристина Жаркова скинула, с подписью «Это не твоя мама?». И смайлик, – Соня ковырнула вилкой сырник. – Я написала, что не моя. Что у меня мама в поликлинике работает.

– Зачем ты так написала?

– А что я должна была написать? «Да, это она, только она никого не убивала»? Они бы все равно не поверили, – она помолчала. – Ты же не убивала?

– Нет.

– А почему он умер?

– Он был очень старый, Сонь. Девяносто восемь лет. Приехал откуда-то из деревни, один, ночью. Сердце не выдержало.

– А зачем ты его раздевала?

– Я его не раздевала, я его осматривала. Это разные вещи.

– В комментариях пишут...

– Я знаю, что пишут в комментариях, – Вера вытерла лужу на клеенке. – Не читай.

– Легко сказать.

Они помолчали. Вера думала, что надо бы сказать про

увольнение. Что сказать все равно придется, не сегодня, так через неделю, когда выяснится, что мать никуда по утрам не уходит. И что лучше бы Соне услышать это от нее, а не от Кристины Жарковой со смайликом. Она уже набрала воздуха.

– Отпуск мне дали, – сказала она вместо этого. – Длинный. Пока все не уляжется.

– Оплачиваемый?

– Конечно.

Соня кивнула и отвернулась к сковороде. Поверила или нет, понять было нельзя.

* * *

Форменную куртку Вера принесла домой в пакете. Сдавать ее полагалось чистой, и вечером, загружая стиральную машину, она привычно обшарила карманы. Ручка. Жгут. Пустой блистер от анальгина. Чек с заправки, непонятно как туда попавший. И что-то шершавое на самом дне.

Она вытащила серый обрезок длиной с ладонь и не сразу сообразила, что это такое.

Под кухонной лампой пояс выглядел иначе, чем на платформе. Там он показался ей просто серым. Теперь стало видно, что серый он не весь. Основа была из грубой шерстяной нити, а поперек, плотно, одна к одной, шли нитки потоньше и разного цвета. Темные. Рыжеватые. Светлые, почти белые. Пепельные. Вера поднесла обрезок ближе к глазам и потерла срез между пальцами. Нитки распушились.

Это была не шерсть.

За пятнадцать лет на скорой она навидалась человеческих волос во всех видах — слипшихся от крови, опаленных, вырванных с корнем, и ни с чем бы их не спутала. Вот длинный, темный, чуть волнистый, явно женский. Вот короткий жесткий, рыжий, с сединой у корня. А вот этот, тоненький, льняной, мягкий как пух, мог принадлежать только ребенку. Года три, не больше. Вера знала, какие у трехлетних волосы. У Сони в три года были точно такие же, пока не потемнели.

Волос было много. Сотни. Может, тысячи, если считать весь пояс, а не один обрезок. Их не просто вплели, их сперва спряли в нить, тонкую, ровную, и уже потом пустили в уток. Кто-то сидел над этим часами. Собирал. Сортировал. Сучил.

Она разжала пальцы, и обрезок упал на стол.

«Секта, — подумала Вера. Мысль была простая и трезвая, и за нее хотелось держаться. Какие-нибудь старообрядцы или еще похуже. Мало ли в глуши чудиков. Носят вериги из волос покойных родственников. А он сбежал. Потому и озирался на платформе, потому и сказал: доехал».

Объяснение было хорошее. Оно объясняло пояс. Оно не объясняло только того, что случилось в машине, но об этом Вера приказала себе не думать. Она выбросила обрезок в мусорное ведро, под картофельные очистки, вымыла руки с хозяйственным мылом, дважды, и легла спать.

* * *

Звонок раздался через одиннадцать дней.

За эти одиннадцать дней она разослала резюме в шесть частных клиник и в две государственные поликлиники. Из клиник не ответили. В поликлинике на Заводской обещали перезвонить, а на другой день кадровичка, пряча глаза, сказала, что ставку сократили.

Банк прислал уведомление о просрочке. Коллекторы звонили теперь не только ей, но и на городской телефон, которым никто не пользовался лет десять. Трубку однажды сняла Соня. О чем с ней говорили, она не рассказала, только ходила потом два дня с белыми губами и на вопросы отвечала: «Нормально все».

Номер был незнакомый, с кодом, которого Вера не знала. Она хотела сбросить – и не сбросила.

– Вера Андреевна Ладыгина? – голос был женский, суховатый, не молодой и не старый. Таким голосом говорят в учреждениях, где на двери висит табличка с часами приема. – Добрый день. Вас беспокоит администрация Усть-Лихвинского района. Кривцова Таисия Ильинична, заместитель главы по социальным вопросам.

– Слушаю.

– Ваши данные нам передали в областном министерстве. У нас открыта вакансия по программе «Земский фельдшер». Вам знакома эта программа?

Вера была знакома. Про нее на подстанции говорили с усмешкой: миллион дают, да только за этот миллион надо пять лет просидеть в такой дыре, откуда и волки ушли.

– В общих чертах.

– Тогда я сразу по существу. Единовременная выплата – один миллион рублей, перечисляется в течение тридцати дней после заключения договора. Служебное жилье, половина дома, с печным отоплением, но дрова за счет района. Оклад плюс сельские. Обязательство отработать пять лет. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Долгое.

Вера не сразу поняла, отчего у нее похолодели пальцы. Потом поняла.

«Место рождения – деревня Долгое Усть-Лихвинского района».

– Простите, как вы сказали? Долгое?

– Долгое. Тридцать восемь километров от райцентра. Автобус дважды в неделю. – На том конце помолчали, – вам знакомо это название?

– Нет, – соврала Вера. – Первый раз слышу. А сколько там населения?

– Девятнадцать человек.

– И на девятнадцать человек вы держите ФАП*?

– Держим, – в голосе Таисии Ильиничны ничего не изменилось. – Контингент у нас там особый, Вера Андреевна. Возрастной. Младшей жительнице шестьдесят восемь, остальным крепко за восемьдесят. Долгожители. Сами понимаете, такие люди без медицинского присмотра оставаться не могут. Прежний фельдшер у нас, к сожалению, выбыл пять лет назад, и с тех пор мы никого не можем найти. Мо-

лодежь не едет.

— А почему вы звоните именно мне?

— Потому что вы опытный специалист со стажем на скорой. Потому что в настоящий момент вы, насколько мне известно, не трудоустроены, — пауза. — И потому что в Долгом вас очень ждут.

— Меня?

— Фельдшера, — поправилась Кривцова. — Ждут фельдшера. Старики уже и дом протопили, и побелили. Они у нас гостеприимные. Вы подумайте, Вера Андреевна. Дочку вашу можно оформить на семейное обучение, в деревне есть учительница на пенсии, она с удовольствием поможет. Воздух, озеро, грибы. Ребенку полезно.

Про дочку Вера ей ничего не говорила.

Она хотела спросить, откуда в районной администрации знают про Соню. И про то, что она не трудоустроена. И не странно ли, что ей звонят из района, где родился человек, умерший у нее на руках две недели назад. Вопросов было много, и все они были правильные.

Но был еще миллион. Он стоял перед глазами круглой цифрой с шестью нулями, и против этой цифры все правильные вопросы выглядели бледно. Миллион закрывал две трети Олегова долга. Миллион означал, что на двери перестанут появляться листки, а Соня перестанет ходить с белыми губами. И город, в котором каждый второй видел ролик, останется где-то за лесами, в тридцати восьми километрах от бли-

жайшего райцентра.

«Совпадение, – сказала себе Вера. – Он оттуда приехал, потому и попал ко мне, а не к кому-то еще. В области таких районов двадцать, в каждом по три вакансии, вот и вся мистика. А данные им дали в министерстве, там теперь про меня все знают».

– Я подумаю, – сказала она.

– Подумайте. Только недолго, — и Таисия Ильинична, уже прощаясь, добавила тем же ровным учрежденческим голосом: – У нас там осень ранняя. К Покрову, бывает, уже и снег ложится. Хорошо бы вам успеть до снега.

Вера положила телефон на стол экраном вниз и какое-то время сидела не двигаясь. Потом пошла на кухню ставить чайник.

Соня делала уроки, пристроив учебник между хлебницей и сахарницей. В своей комнате она заниматься не любила, говорила, что там «давят стены». Левой рукой она подпирала щеку, правой писала, и на запястье правой руки, поверх манжеты домашней толстовки, было что-то намотано в два оборота и завязано узелком.

Серое. С темными и светлыми прожилками.

– Это что у тебя? – спросила Вера, и собственный голос показался ей чужим.

– А? – Соня глянула на руку. – А, это. Фенечка. Я в ведре нашла, когда мусор выносила. Ты чего такие вещи выкидываешь? Это же ручная работа, сейчас такое в тренде, этника

всякая. Я ее постирала.

– Сними.

– Почему?

– Сними, я сказала. Она грязная. Она с вызова.

– Мам, я же говорю: постирала. С шампунем, – Соня повертела запястьем, любуясь. – Смотри, как села. Как будто на меня мерили.

Вера шагнула к ней, взяла за руку и попыталась поддеть узелок. Узелок был маленький, тугой, и ногти у нее соскальзывали. Она потянула сильнее.

– Ай! Больно же!

– Потерпи.

– Да что с тобой такое?! – Соня выдернула руку и отодвинулась вместе с табуреткой. Глаза у нее стали злые и мокрые. – Нормальная фенечка! Ты из-за всего теперь будешь психовать? Из-за ролика психуешь, из-за звонков психуешь, теперь из-за веревочки? Я, между прочим, тоже человек! У меня тоже может быть что-то свое!

Она схватила учебник и ушла к себе. Хлопнула дверь.

Вера осталась стоять посреди кухни. Чайник закипел и отключился. В наступившей тишине она слышала, как за стеной Соня шмыгает носом и что-то сердито бормочет, должно быть, наговаривает голосовое сообщение подружке.

«Обычный обрезок, – подумала Вера. Тряпка. Волосы – это просто кератин, они сто лет лежат и ничего им не делается. Отрежу ночью, когда уснет».

Ночью она вошла к дочери с маникюрными ножницами. Соня спала на боку, выпростав руку из-под одеяла. Вера присела на край кровати, подсунула лезвие под серую полоску и сжала.

Ножницы не взяли.

* ФАП — фельдшерско-акушерский пункт

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.